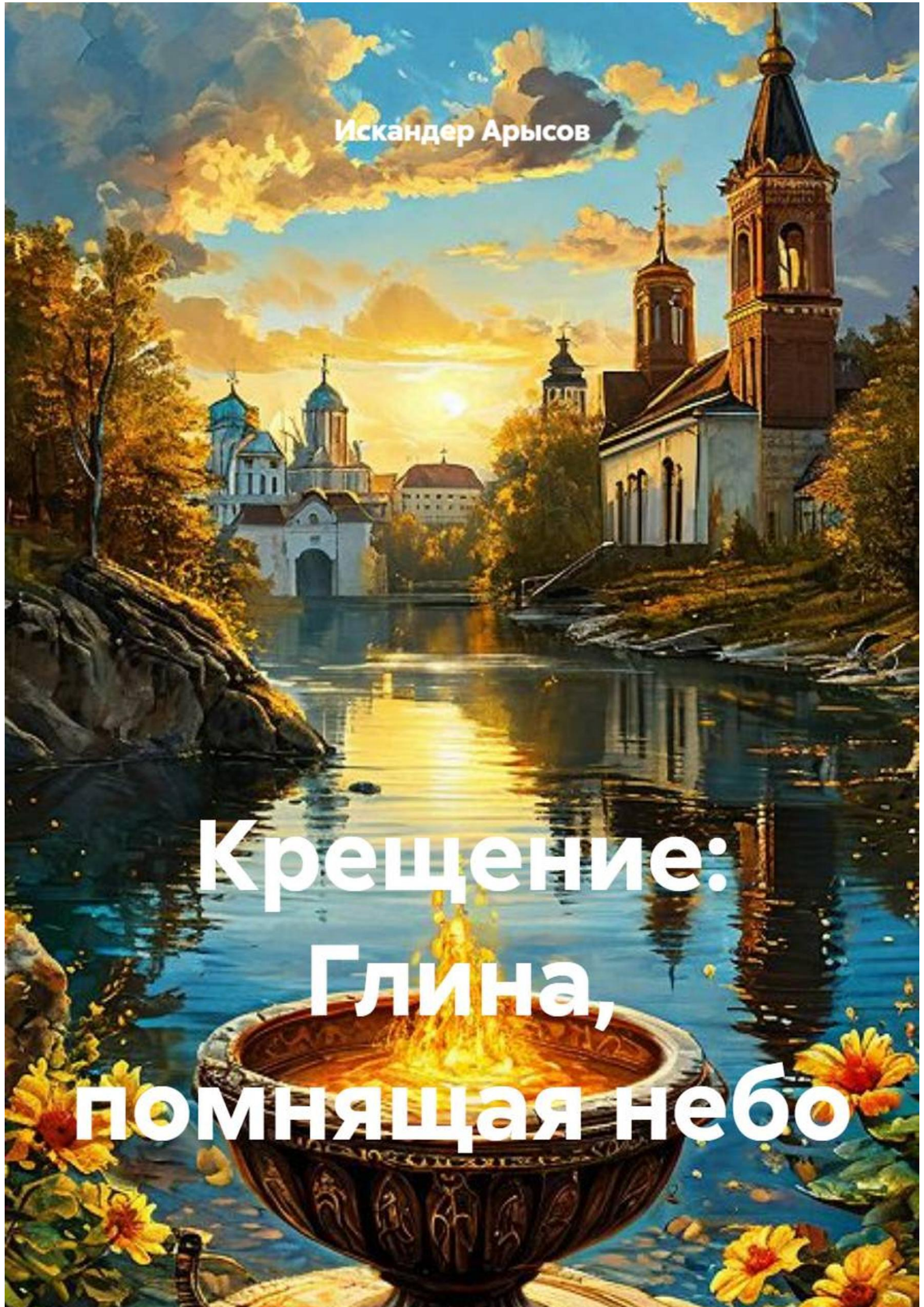


The background of the image is a rich, detailed painting. It depicts a church complex with multiple domes and spires, situated on a riverbank. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow across the sky and reflecting it on the water. In the foreground, a large, ornate, dark-colored bowl sits on a stone ledge. Inside the bowl, a bright, golden flame or fire is burning. The scene is framed by autumnal trees and foliage, with yellow and orange leaves scattered around the bowl and on the riverbank. The overall mood is serene and spiritual.

Искандер Арысов

Крещение: Глина, помнящая небо

Искандер Арысов

Крещение: Глина, помнящая небо

«Автор»

2026

Арысов И.

Крещение: Глина, помнящая небо / И. Арысов — «Автор», 2026

Это роман о том, как глина стала верой. А вера — судьбой. Тысячу лет назад на берегах Днепра решалась участь целого мира. Княгиня Ольга, мстительная и мудрая, принесла на Русскую землю странную веру — ту, что прощает, но не забывает. Её сын Святослав, воин до мозга костей, принял крещение в холодной воде, чтобы остаться человеком. А внук Владимир, искавший истину среди чужих богов, нашёл её в золотом свете константинопольских куполов. Но эту историю рассказывает не князь и не летописец. Её рассказывает гончар Гаврила — человек, чьи руки помнят каждую частицу глины, из которой когда-то была слеплена чаша для святой воды. Через его судьбу, через его боль, надежду и веру мы видим, как рождалась новая Русь: в крови, в слезах, в молитвах, в молчании камней, которые помнят всё. «Крещение: Глина, помнящая небо» — это не просто исторический роман. Это магическое путешествие сквозь века, где прошлое дышит в настоящем, а каждый черепок хранит тепло человеческой души.

© Арысов И., 2026

© Автор, 2026

Искандер Арысов

Крещение: Глина, помнящая небо

Пролог. Глина, помнящая небо

1.

Тысячу лет назад — или, может быть, вчера, потому что время для глины не имеет значения — на берегу Днепра стоял человек. Он был стар, и руки его, когда-то чёрные от земли, теперь были серыми, как пепел утреннего костра. Он держал в ладонях кусок глины, и глина была ещё сырой, ещё помнящей ту воду, которая когда-то, в начале всех начал, смешалась с прахом и породила жизнь.

Человек смотрел на реку, и река смотрела на него. Тысячи лет они смотрели друг на друга, и каждый раз человек уходил, а река оставалась. Но в этот раз человек чувствовал, что уйдёт он, а река унесёт с собой что-то очень важное. Что-то, что останется в её водах навсегда.

— Зачем ты держишь эту глину? — спросил голос сзади.

Человек не обернулся. Он знал этот голос. Он слышал его в снах, в шуме ветра, в треске дров в очаге. Он знал его с тех пор, как впервые взял в руки сырую землю и понял, что может создать из неё мир.

— Я держу её, чтобы помнить, — ответил он. — Чтобы помнить, что мы все сделаны из этого. Из воды, из праха, из того, что было до нас и будет после нас.

Голос замолчал. А потом сказал:

— Расскажи мне. Расскажи мне, что ты помнишь.

И человек начал говорить.

2.

Он рассказывал о том, как глина была мягкой, как грудь матери, когда он впервые коснулся её. Он рассказывал о том, как она пахла — сыростью и вечностью, дождём и надеждой. Он рассказывал о том, как его пальцы, неуклюжие и толстые, научились чувствовать каждую частичку земли, каждую песчинку, каждый камешек, который попадался под руки.

— Я лепил горшки, — говорил он. — Я лепил миски. Я лепил то, что было нужно для жизни. Но однажды я понял, что глина может сделать больше. Она может хранить душу. Она может помнить.

Он замолчал, и в тишине было слышно, как вода плещется о берег.

— Я встретил женщину, — сказал он. — Не ту, что стала моей женой. Другую. Она была маленького роста, но в ней было столько силы, что даже ветер затихал, когда она говорила. Она взяла глину из моих рук и сказала: «Ты лепишь для тела. А теперь ты будешь лепить для души».

— Кто она была? — спросил голос.

— Она была княгиней, — ответил он. — Но это не важно. Важно то, что она видела больше, чем я. Она видела будущее. Она видела то, что мы сейчас называем историей. И она сказала мне: «Слепи чашу. Чашу, в которую люди будут пить веру».

3.

Он рассказывал о том, как лепил эту чашу. Как его пальцы дрожали, когда он прикасался к глине, потому что он знал: это не просто работа. Это — начало. Начало того, что будет длиться веками. Он рассказывал о том, как она сушилась в тени, чтобы не потрескаться, и как он обжигал её в печи, глядя на огонь и понимая, что огонь — это тоже часть жизни. Огонь, который сжигает, но не уничтожает. Огонь, который превращает мягкое в твёрдое, а временное — в вечное.

— Когда я вынул её из печи, — говорил он, — она была тёплой, как живое тело. И я понял, что я не просто создал чашу. Я создал сосуд для чего-то великого. Я создал то, что будет стоять на алтаре и хранить веру.

— Что ты чувствовал? — спросил голос.

— Я чувствовал, — ответил он, — что это — не я. Это — кто-то другой, кто лепил моими руками. Что-то, что было больше меня. Я был только инструментом. Но инструментом, который был нужен.

4.

Потом он рассказывал о княгине. О том, как она ходила по Киеву, и люди боялись её, но она не была страшной. Она была справедливой. Она была той, кто сжигала города, но строила храмы. Она была той, кто мстила, но прощала. Она была той, кто нашёл Бога в чужой земле и принесла Его на свою.

— Она была как глина, — говорил он. — Она могла быть мягкой, когда нужно, и твёрдой, когда нужно. Она могла принимать любую форму, но никогда не теряла своей сути. Она была... — он замолчал, ища слова. — Она была как печь. В ней горел огонь, который не сжигал, а светил.

— Ты любил её? — спросил голос.

Старик усмехнулся. От усмешки морщины на его лице стали глубже, и в них, как в трещинах старой глины, затаилась грусть.

— Я любил всех, кто искал правду, — сказал он. — А она искала правду больше, чем кто-либо. И когда она нашла её, она не оставила её себе. Она отдала её всем.

5.

Он рассказывал о Святославе. О воине, который не верил в Бога, но верил в меч. И как он, Святослав, стоял в воде Днепра, и вода смывала с него всё — страх, гордость, сомнения. И как он вышел из воды и был другим. Не потому, что изменилась его вера. А потому, что он понял: сила — не в мече, а в том, что за мечом.

— Он был упрямым, — говорил старик. — Он был как бык, который идёт на рогатину. Но он был честным. И когда он понял, что правда — не в старых богах, а в том Боге, что пришёл с запада, он принял её. Не потому, что его заставили. А потому, что он сам увидел.

— И он победил?

— Он победил, — ответил старик. — Но не в той битве, где льётся кровь. Он победил в битве с самим собой. И это — самая трудная победа.

6.

Потом он рассказывал о Владимире. О том, как он искал веру, как посылал послов в разные земли, как слушал их и колебался. И как он нашёл её — ту, что заставила его плакать от счастья. Ту, что сделала его не просто князем, а строителем новой эпохи.

— Он был как его бабка, — говорил старик. — В нём горел тот же огонь. Только он был моложе, горячее, безумнее. Он не боялся ошибаться. Он не боялся падать. И когда он встал, он пошёл вперёд. И он увёл за собой всех.

— Что он построил?

— Он построил храмы, — ответил старик. — Он построил школы. Он построил веру. Не ту, что в книгах, а ту, что в сердцах. Ту, что живёт в каждом, кто смотрит на крест и не боится.

7.

Старик замолчал. Он смотрел на реку, и река текла, как текла тысячи лет назад. Вода была тёплой, как слеза, и холодной, как правда. И в этой воде отражалось небо — безоблачное, голубое, бесконечное.

— Что ты сделал с чашей? — спросил голос.

— Я отдал её, — ответил он. — Я отдал её тем, кто будет жить после меня. Она стоит на алтаре Десятинной церкви. И каждый, кто пьёт из неё, пьёт не воду. Он пьёт веру. Веру в то, что мы не одни. Веру в то, что есть Тот, кто смотрит на нас и любит нас.

— Ты веришь в это?

— Я верю, — сказал он. — Я верю, потому что видел. Потому что я держал в руках глину и знал, что она — не просто земля. Она — память. Память о том, что было, и предчувствие того, что будет. Она — начало и конец. Она — всё.

8.

Вдруг старик почувствовал, что его руки становятся лёгкими. Глина в них начала светиться — не ярко, а мягко, как утренняя заря. Он не испугался. Он знал, что это — знак. Знак того, что его время уходит, но его дело остаётся.

— Иди, — сказал голос. — Иди туда, где нет времени. Где только свет и тишина. Ты заслужил это.

Старик улыбнулся. Он закрыл глаза, и мир вокруг него исчез. Осталась только река, только свет, только голос, который шептал ему слова утешения. Он чувствовал, как его тело становится лёгким, как глина, которая поднимается к небу, оставляя на земле только форму. И в этой форме было всё. Все его слёзы, все его радости, вся его жизнь.

— Я готов, — прошептал он.

И он ушёл.

9.

Но чаша осталась.

И крест остался.

И вера осталась.

И когда мы смотрим на эту чашу, мы видим не просто глину. Мы видим тысячу лет истории, в которой были и кровь, и слёзы, и молитвы, и надежда. Мы видим княгиню, которая пошла против всех и нашла правду. Мы видим князя, который не боялся ошибаться. Мы видим гончара, который слепил свою душу и отдал её людям.

Мы видим себя.

Потому что каждый из нас — это глина в руках Бога. И каждый из нас может стать чашей для веры. Или крестом для надежды. Или храмом для любви.

Вопрос только в том, готовы ли мы.

10.

Ветер, который дул с Днепра, принёс запах глины. Он смешался с запахом ладана, хлеба, мёда и крови. И в этом запахе был весь мир. Прошлый, настоящий, будущий. Мир, который начался с капли воды и горсти праха. Мир, который продолжается в нас.

На Подоле кто-то зажёл свечу. И её свет отразился в окнах домов, в воде Днепра, в глазах детей, которые смотрели на небо. И в этом свете было столько обещания, что даже звёзды, казалось, замерли, чтобы увидеть, что будет дальше.

А будет вера.

И надежда.

И любовь.

И глина, которая помнит небо.

Глава первая. Глина, огонь и дождь над Почайной

1.

В тот год дожди пришли с юга, словно их гнали с гор копытами византийских стратиотов. Они падали на землю тяжело и мокро, размывая глиняные берега Почайны, превращая дороги в коричневую кашу, в которой вязли телеги и брыкались лошади. Люди в Киеве хмурились и крестились — но крестились по-старому, неистово, когда ладонь заслоняла лицо от злого духа, а не от солнца, потому что солнца не было.

Гаврила, гончар с Подола, стоял у своей ямы для обжига и смотрел, как небо сливается с водой. Его пальцы, черные от глины, дрожали. Он не боялся холода. Он боялся тишины.

— Гаврила! — крикнула из дверей его жена, перебивая стук дождя. — Затопи печь, или дети замерзнут, как птенцы!

Он не ответил. Он смотрел вверх, туда, где над днепровскими кручами стоял терем княгини Ольги. Дым над его кровлей висел прямой и тонкий, будто кто-то невидимый тянул в небо серебряную нить. Гаврила знал — это не простой дым. Это дым от восковых свечей, которые жгут в той горнице, где молятся чужим богам.

— Слышишь? — шепнул он сам себе, прикрывая глаза. — Она говорит с ними.

Ему казалось, что он слышит сквозь шум воды голос княгини. Голос низкий, как гудение струны на княжеском гусях, и в нем нет страха. Никогда. Даже когда три года назад убили Игоря, Ольга не закричала. Она посмотрела в глаза посланникам древлян, и взгляд её был холоднее днепровского льда.

А потом она сожгла их город. Гаврила видел тот огонь — он был виден даже из Киева, когда ветер дул с севера. Небо стало красным, как кровь, смешанная с вином, и земля гудела. Гаврила тогда сказал своей жене: «Она не человек. Она — печь, в которой обжигают судьбы». Жена перекрестилась языческой пятерней и велела ему молчать, чтобы Перун не услышал хулы.

Гаврила не знал, какой бог сильнее. Он знал глину. Глина не лжет. Сожми её — она поддастся, брось в огонь — затвердеет, разбей — рассыплется в прах. Люди — та же глина. Только их обжигают войны, голод и слова.

2.

За две версты от Подола, в княжеской гриднице, пахло не глиной, а воском, старым медом и потом. Здесь сидели бояре. Толстый Воротыня, чья борода была похожа на мочало, хмуро перебирал пальцами серебряную гривну на шее. Молодой Свенельд, сын воеводы, нервно постукивал ногой, и кожаный сапог его поскрипывал, как мышь.

Они ждали княгиню.

— Слышали? — спросил Воротыня, не поднимая глаз. — В Царьграде новая смута. Они там с молотами и крестами бегают друг за другом, как псы.

— А нам что? — хмыкнул Свенельд. — У нас свой договор. Свой мир.

— Свой мир, — усмехнулся Воротыня. — Знаешь, что говорит княгиня? Что наш мир — как дырявое корыто. Что нас окружают... как же она говорит? — он почесал затылок. — «Варвары-соседи». Хазары берут дань с вятичей, печенеги щиплют наши южные земли, а Византия смотрит на нас как на мясо, которое можно купить за пару мехов и несколько рабов. И только её бог...

— Не тронь богов, Воротыня, — зло перебил Свенельд, и рука его легла на рукоять ножа. — Мой отец сражался под стягом с изображением Перуна. И умирал с именем Перуна. И я умру так же.

Дверь скрипнула. Тяжелый занавес из конской кожи откинулся, и в гридницу вошла Ольга. Она была невысокой, но в ней было столько силы, что воздух в комнате, казалось, сгустился. Глаза — серые, как днепровская вода в пасмурный день, — оглядели бояр без улыбки. Платье её было темно-вишневым, с золотым шитьем, а на груди висел крест — маленький, почти незаметный, но Воротыня смотрел на него, как на змею, готовую ужалить.

— Молчите, — тихо сказала она, и оба боярина замерли. — Я слышала вас за дверью. Воротыня, не трясى бородой, как старый козел. Свенельд, убери нож. Мы не на охоте за кабаном.

Она села на резное кресло, сколоченное из дуба, привезенного из древлянских лесов. Её руки, белые и холеные, легли на подлокотники. Эти руки держали меч, когда она мстила за мужа. Эти руки кормили Святослава, когда он был младенцем, и эти руки сейчас сжимали послание от константинопольского патриарха, написанное на тонком, пахнущем ладаном пергаменте.

— Я не буду говорить о богах, — начала она, и в голосе её зазвенел металл. — Я буду говорить о Руси. О том, что мы — как глина на круге. И если мы не возьмем себя в руки, нас раздавит чья-то более сильная длань.

— Княгиня, — осмелился Воротыня, — но мы сильны. Наша дружина...

— Ваша дружина, — перебила Ольга, — молится идолам, которые гниют под дождем. Я видела, как в прошлую грозу Перуна ударила молния, и идол раскололся. И что? Вы заменили его новым. Вы лепите богов из глины, как мой гончар на Подоле. А потом удивляетесь, что они рассыпаются.

Свенельд хотел возразить, но Ольга подняла палец.

— В Константинополе, — продолжила она медленно, точно вплетая нить в узор, — император просит помощи. У него мятеж. Но он не просит наших мечей, как раньше. Он просит... мира. И веры. Его Бог — сильный Бог. Он не требует жертвенной крови, кроме крови своего сына, которая уже пролита. И он объединяет народы. Славяне, греки, немцы, варяги — все равны перед ним, если они верят.

— Рабы? — фыркнул Свенельд.

— Свободные, — отрезала Ольга. — Внутри. А внешняя свобода приходит, когда ты перестаешь бояться грома и начинаешь бояться своей собственной глупости.

3.

В тот же час, за пятьсот поприщ от Киева, в хазарской крепости Саркел, хан Иосиф принимал послов от печенежского вождя Куря. Пахло здесь не глиной и медом, а верблюжьей шерстью и кислым молоком. На стенах висели ковры с изображением звезд, а в центре зала горел огонь, который не давал тепла — только свет, дрожащий и тревожный.

Иосиф был стар. Он уже не мог сидеть прямо, и тело его, обложенное подушками, напоминало тук с товаром. Глаза его, черные и цепкие, не утратили зоркости.

— Княгиня Ольга, — прошамкал он, перелистывая шкурку с руническими письменами. — Она крестилась. Вы знаете об этом, Куря?

Печенег, огромный мужчина с бритой головой и усами, сплетенными в косицы, пожал плечами:

— Баба. Что с нее взять?

— Баба, — повторил хан, и голос его стал скрипучим, как несмазанная дверь. — Глупец. Это не баба. Это волчица в человеческой шкуре. Она перерезала древлян, как овец. Она построила погосты по всей земле — не для торговли, а для того, чтобы стянуть нас, хазар, за горло данью, которую мы брали с её предков. И теперь она принимает веру ромеев.

— А нам что? — ухмыльнулся Куря. — Наш бог Тенгри сидит на небе и смотрит. Ему все равно, кому молятся славяне.

— Ты не понимаешь, — вздохнул Иосиф. — Вера — это не молитва. Вера — это копье. Когда княгиня поставит церкви на всех торгах, её купцы будут торговать везде, а твои люди будут платить ей за проход. Нас сожмут с севера и с юга. Как клещи.

Он махнул рукой, и слуга вынес карту, начерченную на бычьей коже. Реки, горы, моря — все было размечено точками поселений.

— Смотри, — ткнул пальцем Иосиф. — Киев. Отсюда русы, идут в Царьград. Отсюда они спускаются к нам. Если Ольга договорится с Византией, если её сын Святослав возьмет меч и пройдет по нашим землям... — Хан замолчал и поднял глаза к огню, в котором танцевали тени. — Мы проиграем.

— Тогда идем на них сейчас, — рявкнул Куря, сжав кулак размером с голову младенца. — Пока Святослав мал. Пока их дружина пьет и гуляет.

— Идем, — усмехнулся хан. — На кого? На каменные стены Киева? На эту женщину, которая сожгла город древлян? Нет, Куря. Мы будем ждать. И мы будем смотреть, что принесет этот новый бог. Может быть, он разделит их, как их старые идолы. А может быть, — он понизил

голос до шепота, — он даст им такую силу, которую мы не сможем победить. Тогда мы станем рабами, а наши дети будут петь псалмы на чужом языке.

4.

Ольга вышла из гридницы и пошла по деревянному настилу к своей маленькой церкви. Священник Григорий, грек, сосланный в Киев за какую-то ересь, но выживший благодаря её покровительству, уже ждал её с кадилом в руках. Воздух внутри был густым, как мед. Горели свечи. Ольга опустилась на колени перед иконой Богородицы — темной, строгой, с глазами, полными печали.

— Господи, — прошептала она. — Ты дал мне этот народ. Ты дал мне эту землю. Но они не видят. Они слепы. Они как дети, которые играют с огнем в соломе.

Священник Григорий молчал. Он знал, что княгиня говорит не ему. Она говорит Богу, а он — только переводчик.

— Я старая, — продолжила она, касаясь лбом холодного дерева. — Святослав не слушает меня. Его дружина поет песни о Перуне, а он смотрит на меня, как на чужую. Он говорит: «Мать, зачем нам этот греческий обряд? Мы — варяги. Мы — северные волки. Мы убиваем и умираем, и этого достаточно». — Ольга вздохнула, и эхо разнеслось по сводам. — Но я вижу дальше. Я вижу, что если мы не станем едиными в вере, нас разорвут. Как хазары, как печенег, как... — она замолкла. — Как древляне, которых я сожгла.

Григорий подошел ближе.

— Княгиня, — сказал он мягко, с греческим акцентом, — Бог не требует, чтобы все крестились в один день. Он требует, чтобы сердце было открыто. Вы сделали шаг. Теперь надо, чтобы другие захотели идти за вами.

Ольга подняла голову. Свечи отражались в её серых глазах, превращая их в горящие угли.

— Захотели? — переспросила она. — Свенельд хочет меня убить за этот крест. Гаврила с Подола, который обжигает горшки, он боится, что его боги обиделись из-за дождя, и поэтому льет. Воротыня думает только о своем животе. А я... — она потеряла виски. — А я должна объединить их. Должна сделать так, чтобы они поняли: их вера гнилая. Как гниет дерево, из которого сделаны их идолы.

Она встала. Колени болели. Возраст брал своё.

— Скажи мне, Григорий, — спросила она, поворачиваясь к нему. — Когда я умру, мой народ вспомнит меня как мстительницу или как мать?

— Как мать, — ответил священник. — Которая сожгла своего ребенка, чтобы он не сгорел в большом пожаре.

Ольга усмехнулась, и в этой усмешке была горечь, смешанная с железом.

— Иди, — сказала она. — Я постою.

Она осталась одна в полумраке церкви. За стенами шумел дождь, который, казалось, оплакивал старый мир, уходящий в небытие. Где-то внизу, на Подоле, кричал ребенок — его звали Микула, и он боялся грома. Где-то на торгу купец, приехавший из Булгара, продавал шелк и рассказывал про чудеса арабских земель. Где-то в тереме Святослав, её сын, метал копье в деревянную мишень, представляя врага.

А Ольга стояла перед иконой и молчала. Она слышала, как под полом скребутся мыши, как ветер завывает в щелях, как где-то далеко, за тысячу верст, император Константин Багрянородный пьет вино и обсуждает с патриархом варварскую княгиню, которая приехала в Царьград и крестилась, чтобы обмануть всех.

— Я не обманываю, — прошептала Ольга в темноту. — Я выживаю.

И в этот момент свеча на алтаре ярко вспыхнула, и тень её на стене стала похожа не на женщину, а на орла, расправившего крылья над бездной.

5.

А утром, когда дождь стих и солнце проклюнулось сквозь тучи, Гаврила-гончар снова стоял у своей ямы. Он взял кусок сырой глины и начал лепить. Руки его двигались сами — они знали своё дело лучше, чем голова. Он лепил не горшок. Он лепил лицо. Женское лицо. Строгое. С высоким лбом и сжатыми губами.

Жена вышла и посмотрела.

— Кого это ты? — спросила она.

Гаврила не ответил. Он знал, что это не его работа. Это сама земля просила выйти из неё образ княгини, которая решила переделать мир. Он вдавил пальцами две ямки для глаз и, подумав, добавил на грудь маленький крест — двумя перекрестными царапинами.

— Глупые мы люди, — сказал он наконец. — Мы лепим богов, а потом молимся на собственные руки. Может быть, она права. Может быть, Бог там, где его не видно. Где он не из глины.

Жена перекрестилась испуганно, по-старому, и ушла в дом.

Гаврила остался с лицом в руках. Ветер с Днепра донес до него колокольный звон. Тонкий, неуверенный, еще не настоящий — пробный. Это в церкви Ольги звонили к заутрене. И звук плыл над водой, смешиваясь с криками чаек и скрипом весел.

Крещение Руси, подумал Гаврила, не будет в один день. Как не обжигают горшок за один миг. Сначала глина сохнет. Потом её ставят в печь. Потом дают остыть. А потом — проверяют на звон. И если звенит чисто — значит, она навеки твоя.

Он разжал пальцы, и лицо Ольги упало в глиняную жижу у его ног — без глаз, без креста, просто комок мокрой земли, готовой к новому рождению.

Глава вторая. Голоса из пепла

1.

Гавриле-гончару приснился сон, от которого он проснулся в холодном поту, а жена, перекрестив его пятерней, сказала: «Это Перун тебя наказывает за то, что ты лепишь бабье лицо с крестом». Но Гаврила знал: это не Перун. Перун, если он вообще существовал, был глуповатым стариком, который любил шум и гром. Этот сон был другим — тихим, липким, как глина, замешанная на слезах.

Ему снилось, что он стоит на берегу Днепра, а река течёт не водой, а расплавленным воском. Свечи плывут по течению — тысячи, десятки тысяч свечей, и каждая горит ровным, бездымным огнём. А среди них плывёт лодка. В лодке сидит княгиня Ольга, но она не старая, а молодая, как в тот день, когда входила в Киев невестой Игоря. Волосы её распущены по плечам, и на каждом волоске — капля росы, которая не падает.

— Гаврила, — говорит она ему. — Ты боишься огня. А зря. Огонь не убивает. Огонь очищает. Когда я сожгла Искоростень, я сожгла не людей. Я сожгла страх. Теперь я сжигаю старых богов. Но они не горят. Они плавятся, как твой воск, и текут в реку, и отравляют землю.

Гаврила хочет спросить: «Княгиня, а что останется, когда всё сгорит?» Но она исчезает, и река из воска превращается в реку из крови, и на той крови плывут не свечи, а головы — головы древлянских послов, которых она закопала живыми, и головы хазарских купцов, и головы её собственных бояр, которые шептались за её спиной.

Он проснулся и услышал, как в соседней избе плачет дитя, а на улице скрипит колесо — кто-то приехал с верховьев, привёз новости.

2.

Новости были тревожные. В Киев прискакал гонец от Святослава, который стоял с дружиной на северных рубежах, недалеко от земель вятичей. Гонец — парень с обветренным лицом и разбитыми в кровь губами — рухнул у ворот княжеского терема, и стража потащила его к боярам.

Воротыня, разбухший от сна и медовухи, шурился на гонца, как филин на мышь.

— Ну? — рывкнул он. — Что там Святослав? Опять требует коней и хлеба?

— Хуже, — прохрипел гонец, глотая воздух. — Он сказал... он сказал, что идёт на хазар. На Итиль. Он хочет разбить их город и взять дань, как брал его отец. Он сказал, что хватит торговать с жидами и платить им за проход. Он сказал... — гонец замолк, косясь на дверь, за которой, как он знал, была княгиня.

— Что он сказал? — голос Ольги раздался из-за полога, и гонец вздрогнул.

— Он сказал, что мать его слишком стара для войны и слишком мягка для правления. Это не я, княгиня! Это он сказал! — затараторил парень, падая ниц.

Ольга вышла из полутьмы. Она была в тёмно-зелёном платье, расшитом серебряными нитями, и на поясе у неё висел не меч, а маленький нож для письма — острая железная палочка, которой она чертила буквы на бересте. Она смотрела на гонца, и в глазах её не было гнева. Было что-то другое — усталость, которую Воротыня принял за слабость.

— Встань, — сказала она. — Мой сын прав. Я — старая. И я — мягкая. Мягкая, как береста, на которой я пишу письма в Царьград. Мягкая, как воск, в который я запечатываю эти письма. Но я ещё достаточно твёрда, чтобы помнить: поход на хазар — это не военная игра. Это политика. Если он разгромит Итиль, на его место придёт кто-то другой. Печенеги. Или турки. Или даже ромеи, которые только и ждут, чтобы мы ослабили себя.

Она повернулась к Воротыне.

— Седлай коня. Я еду к Святославу. Не для того, чтобы остановить его. Для того, чтобы сказать ему правду. Потому что никто, кроме матери, не скажет сыну, что он — дурак, когда он готовится наступить на грабли, которые сам же и поставил.

3.

Дорога до стана Святослава заняла три дня. Три дня дождя, грязи и запаха мокрой шерсти. Ольга ехала в повозке, крытой бычьей кожей, и смотрела на землю, по которой когда-то проходили её предки — варяги, пришедшие с севера, скандинавы, которые смешались со славянами, и получился народ, не похожий ни на кого. Жестокий, упрямый, непредсказуемый.

— Почему ты молчишь, Григорий? — спросила она священника, который трясся рядом с ней на жёсткой скамье. — Ты ведь знаешь, что я еду к сыну не с молитвой, а с угрозой.

— Я молчу, княгиня, потому что слушаю, — ответил Григорий. — Ветер, который дует с севера, несёт не холод. Он несёт голоса. Голоса тех, кто живёт в лесах, кто верит в леших и кикимор, кто никогда не видел храма. Они говорят: «Женщина правит нами. Женщина, которая изменила старым богам. Женщина-оборотень».

Ольга усмехнулась.

— Оборотень. Это хорошо. Волки тоже оборотни, но они сильны. Пусть думают. Пока они думают, что я оборотень, они не заметят, что я меняю их мир. Как гончар меняет глину. Сначала она кажется твёрдой, а потом — мягкой. Сначала она пахнет землёй, а потом — огнём.

— Ваш сын, — тихо сказал Григорий, — не даст себя изменить. Он — воин. Воины не меняются. Они умирают.

Ольга не ответила. Она знала, что священник прав.

4.

Стан Святослава напоминал муравейник, по которому прошёл медведь. Всё было в движении: кузнецы ковали мечи, плотники чинили ладьи, дети бегали меж огней и таскали дрова, а воины сидели кругами и, похоже, обсуждали что-то важное. Запах пота, прокисшего пива и конского навоза стоял такой, что у Григория защипало в носу.

Ольга вышла из повозки, и ряды воинов притихли. Все смотрели на неё. Кто-то перекрестился по-старому, кто-то поклонился, кто-то — и таких было много — отвернулся, демонстрируя, что они служат не женщине, а князю.

Святослав сидел у костра. Он был молод, лет двадцати, но тело его уже огрубело от походов: широкие плечи, мощная шея, короткие светлые волосы, на голове — чуб, как у запорож-

цев, которых ещё не было. Он не встал, когда увидел мать. Только поднял глаза. Глаза у него были голубые, как вода в горных озёрах, и такие же холодные.

— Мать, — сказал он без тепла. — Зачем ты приехала? Боишься, что я погублю твои греческие договоры?

— Я приехала, — ответила Ольга, садясь напротив него на сырую землю, — чтобы посмотреть, каким дураком вырастила моего сына.

Воины вокруг затаили дыхание. Никто, никогда, даже за глаза, не называл Святослава дураком. Он был князем. Он был победителем. Он убил древлянского князя Мала собственным мечом, когда ему было двенадцать лет.

— Ты идёшь на хазар, — продолжала Ольга, не повышая голоса. — Хорошо. Я тоже хочу разбить их. Но зачем ты идёшь напрямик, как бык на рогатину? Ты знаешь, что у них союз с печенегами? Ты знаешь, что, пока ты будешь брать Итиль, твои южные города останутся без защиты?

— Мои воины — вот моя защита, — рявкнул Святослав, и в голосе его проснулся зверь. — А твои бояре — это продажные псы, которые тянут лапу к казне. Ты сидишь в Киеве, пьёшь вино с греками и молишься на доски. А я воюю. Я — князь.

— Ты — мальчик, — сказала Ольга спокойно, и в голосе её была сталь, которую ковали сорок лет правления. — Ты хочешь славы. Я хочу государства. Слава стораёт быстро, как сухая трава. Государство строится веками. Я строю его, пока ты бегаешь с мечом и думаешь, что сила — это когда убиваешь врага. Нет, сын. Сила — это когда враг сам приходит к тебе за дружбой, потому что боится твоего ума. А не твоего меча.

Святослав вскочил. В руке его уже был нож — не для того, чтобы ударить мать, а для того, чтобы показать, что он не мальчик.

— Ты называешь меня трусом? — закричал он так, что птицы в лесу вспорхнули.

— Я называю тебя неопытным, — сказала она, поднимаясь. — Иди на хазар. Иди. Но запомни, когда ты вернёшься — если вернёшься, — ты увидишь, что мир изменился. Я сделаю так, что на Руси не останется ни одного культа, кроме того, что я выбрала. И у тебя, сын мой, не будет другого выбора, кроме как принять это. Потому что государство — это то, что держится на вере. А вера твоих воинов — это вера в мясо, меч и мёд. Этого мало.

Она повернулась и пошла к повозке. Святослав стоял с ножом в руке, глядя ей вслед, и в груди его кипело что-то, похожее на страх. Не перед врагами. Перед матерью, которая, как он начал понимать, была сильнее его. Не силой мышц, а силой, которая невидима, как дым над костром.

5.

А в Киеве в это время происходило странное. На Подоле, у дома Гаврилы-гончара, собралась толпа. Не большая, но злая. Люди пришли смотреть на глиняное лицо, которое Гаврила вылепил, а потом — в порыве непонятного страха или раскаяния — не разбил, а спрятал в печи, где обжигались горшки.

Когда печь остыла, жена Гаврилы вытащила лицо. Оно стало красным, как кирпич, и на нём проступили трещины — глубокие, как морщины на лице старой женщины. Но самое страшное было не в трещинах. Самое страшное было в том, что на лбу лица, в самой середине, проступил знак. Крест. Чёткий, как если бы его вырезали ножом, хотя Гаврила клялся всеми богами, что не делал этого.

— Колдовство! — закричала баба с коромыслом. — Она, княгиня, заколдовала глину!

— Не глина это, — возразил другой, старый лодочник, чьи руки были покрыты заскорузлой кожей. — Это предзнаменование. Она хочет, чтобы мы поклонились её богу. И земля, видишь, уже откликается. Земля сама лепит её образ.

Гаврила стоял в стороне, бледный и тихий. Он смотрел на своё творение и понимал: это не он его сделал. Это кто-то другой — та сила, о которой говорила княгиня. Или та, о

которой молчали священники. Он не знал. Он чувствовал только одно: мир, в котором он жил, трескается, как глина в сильном огне, и что-то новое вылезает из трещин.

Жена трясла его за плечо:

— Гаврила, скажи им, что это не ты! Скажи, что это она, ведьма, наслала!

Гаврила молчал. Потом разжал руки и пошёл в толпу. Взял глиняное лицо, которое всё ещё было горячим, и поднял его над головой.

— Люди! — крикнул он, но голос его сорвался. — Это не колдовство. Это — знак. Я не знаю, чей. Но я знаю, что мы должны решить. Принять ли нам эту женщину с её странным богом или остаться в пепле старых костров. Потому что время уходит. Время, как вода в Днепре, не ждёт. И если мы не прыгнем в неё, она утечёт без нас.

Толпа загудела. Кто-то крикнул: «Креститься!» Кто-то завыл: «Перун!» А кто-то — молодой парень, сын кузнеца — просто сказал:

— А что нам терять? У нас нет ни богатства, ни земли, одни руки да спины. Может быть, её бог даст нам хотя бы надежду, что мы не сгнием в этой грязи? Что наши дети умеют читать, как её попы?

Гаврила опустил голову. Он чувствовал, как глина в его руках излучает тепло — такое же, какое он чувствовал в церкви Ольги, когда стоял на коленях и смотрел на свечи. Он вдруг понял: эта женщина, которая сожгла город и перекроила карту, не просто правительница. Она — печь. Она — та самая печь, которая обжигает старый мир, чтобы сделать его твёрдым.

6.

Ночью, когда толпа разошлась, Гаврила остался один. Он держал лицо в руках и смотрел на трещины. Они становились глубже, и вдруг ему показалось, что одна трещина шевельнулась. Потом другая. Лицо Ольги будто оживало — из глины проступали не черты, а движение. Глаза приоткрылись. И голос — низкий, как утренний гул колокола — раздался у него в голове.

— Ты боишься, гончар?

— Боюсь, — прошептал Гаврила.

— Бойся. Страх — это топливо. Без страха нет огня. Без огня нет глины. Без глины — нет ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.